

Как нас учили на филфаке Самарского государственного университета

А. А. Косицин

... не забуду этот паровоз.

Автор неизвестен

Нас учили — это было страшно, страшно интересно. Ну и еще, пожалуй, весело. Первого сентября 2002 года для оказавшихся в учебном корпусе Самарского государственного университета, что располагался на ул. Потапова (а именно там и доньше находятся кафедры и деканат филологического факультета), начался филфак. Отделению русского языка и литературы можно теперь лишь позавидовать: наш поток был большой, шестьдесят один человек, и делился на две группы; сейчас группа только одна и студентов зачисляется в пять раз меньше.

Первой лекцией для нас, тогдашних первокурсников, стало «Введение в литературоведение», а первым преподавателем, вошедшим к нам в аудиторию, чтобы читать эту дисциплину, стала Э. Л. Ф-к (с этого года она не преподает: часов ей не набрали, да и возраст уже почтенный, а еще профессиональная болезнь — слабое зрение). До 2002 года я ее не знал, но до вуза как-то раз приходилось брать в руки книги ее отца — профессора Л. А. Финка (вживую я с ним никогда не сталкивался, он умер еще в 1998-м, оставив кафедру русской и зарубежной литературы СамГУ профессору С. А. Г-ву, возглавляющему ее до сих пор). Каких-то особых открытий в наши головы Э. Л. Ф-к не привнесла, первый читаемый ею курс носил, скорее, обобщающий характер, и цель его была — обобщить и закрепить в юных, филологически не окрепших еще головах принятые в литературоведении понятия и термины (гораздо интереснее было слушать годом позже другой ее курс — «История русской литературы. XIX век. 1/3»), курс прошел — и слава Богу.

А вот то, что случилось сразу после этой первой лекции, — запомнили, думаю, все. Прозвенел звонок — и в аудиторию зашел кто-то с палочкой, в очках, неопределенного пола и возраста. Мы сидели и гадали — мужчина это или женщина и сколько ей/ему лет? Потом лектор представился Софьей Залмановной Агранович — и понеслось. Фольклор она читала с шутками-прибаутками, что несколько не вредило предмету, — наоборот, теория и практика сочетались во время занятий. Софья Залмановна всякий раз делала невероятный методический трюк, рождая знание прямо на наших глазах и будоража тем самым наше сознание, пробуждая в наших головах интересные мысли в ходе лекций и после них. Она говорила неторопливо, время от времени закуривая «Родопи», которым она, кажется, не изменяла

(один студент, когда ее пачка оказалась пуста, предложил ей как-то свои Winston'ы, на что она, — как гласит легенда, — негодуя, попросила «убрать подальше эти буржуйские штучки»). Курс истории и теории фольклора в ее исполнении был оригинален и воодушевляющ, многие ребята с романо-германского отделения и других факультетов приходили послушать, отпрашиваясь со своих лекций. Софью Залмановну знали все, даже те, кто у нее не учился. Филологи пересказывали содержание ее лекций, вместе с шутками, своим друзьям по университету, а те, в свою очередь, своим друзьям — и так знание, рожденное Софьей Агранович и дарованное ею студентам филфака, распространялось далее. Когда С. З. (в студенческой среде ее так и звали на аббревиатурно-инициальный манер «Сэ-Зэ») не стало (она умерла от рака легких в 2005-м, ей был 61 год), то во дворе ее дома собрались, кажется, все ее ученики. Помню, как мы, простившись с ней у гроба, отошли в сторону и подошедший случайно к нам пожилой старик спросил: «Кого хоронят?». Мы сказали: «Софью Залмановну Агранович, профессора госуниверситета». — «Тыфу ты! Я думал, депутата или министра какого!» — и пошел себе восвояси.

С. З. буквально заряжала нам мозги, из согласий и споров с ней во многом складывалось наше филологическое мышление, и это определяло отношение нас, совсем юных еще филологов, к культуре, литературе, своей специальности, филфаку в целом. После ее лекций мы шли в библиотеки, чтобы читать и думать, или домой, чтобы писать и размышлять, приводя лекции в порядок. Записывать за ней лекции было невозможно, это просто бессмысленно было делать, она говорила, казалось, несистемно, на многое отвлекалась попутно: чье-то опоздание или просто заглядывание в аудиторию превращалось в объемную реплику и уводило ее в сторону, но при этом все, что говорилось, говорилось ею по делу. Она сама частенько так сообщала аудитории: «М-да... меня, бывает, заносит». Так было, но при всем этом структура открывалась нам сама собой, мир собирался в целое, пока мы слушали ее курс. Так, после первой же лекции я вдруг «сам» — как мне тогда казалось! — открыл взаимосвязь ритуалов свадьбы и похорон, а она всего-навсего дала матрицу считывания культурных кодов и говорила про бинарность: смех и радость, черное и белое, левое и правое. После С. З. мы считали себя умными, отличающимися от всех других, прошедшими инициацию; мир после нее делился на посвященных филологов и всех остальных. Мы все считали, что нам с ней очень повезло. Большинство из тех, в чью сторону она отпускала злую шутку о недееспособности и профессиональной импотенции (а такое иногда бывало), не заканчивали впоследствии филфак. Это выдавало в ней тонко чувствующего профессионала, отличного «психолога-рентгенолога», способного анализировать личность и определять все содержащиеся в ней задатки и перспективы. У С. З. был нюх на филологически неподкованных людей, и она не любила, если таковые затесывались в наши студенческие ряды. Но особых репрессий против них она не проводила, некоторые из таковых и поныне живут литературным трудом. Лекции С. З. оказались полезными и для них.

Еще одно яркое событие первого года в университете — курсы античной литературы и латыни. Оба курса читала нам Л. И. Ш-ко (а на втором году на смену им пришел курс древнегреческого языка в ее же исполнении), в прошлом выпускница классического отделения Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова, отличавшаяся своей интонационной манерой и подколами особой мужского пола, угрозами им армией в случае несдачи экзамена. Сдать экзамен ей было не столько сложно, сколько психологически тяжело. Списать у Л. И. Ш-ко было нереально, она, словно разведчик, знала все студенческие способы подстраховки, но самым страшным было то, что она годами хранила отобранные шпоры и показывала их потом последующим курсам, нещадно стыдя несчастных. Буквально с первых дней обучения мы знали, что такой(ая)-то студент(ка) с курса постарше списывал(а) у Л. И. Ш-ко на экзамене и что та ее выгнала, раз и навсегда заклеив позором, а доказательства нечестности старших товарищей были у Л. И. Ш-ко на руках, и с ними нельзя было поспорить. Чтобы сдать экзамен Л. И. Ш-ко, необходимо было вызубрить все «от йоты до йоты». Ходили слухи о ее каверзных вопросах на экзамене по античке из разряда: *как звали собаку Одиссея? была ли у вергилиевой Дидоны кормилица? как переводится с древнегреческого (или латыни) имя такого-то героя?* В большинстве случаев это, к сожалению (поскольку героев в античной литературе немало и приходилось их выучивать) или к счастью (поскольку круг таких вопросов был ограничен и из года в год он просто повторялся), оказывалось правдой. Сама Л. И. Ш-ко говорила, что для того чтобы сдать ей экзамен, нужно молиться, и лучше это делать на древнегреческом. Из ее уст мы слышали прекрасную мотивацию к изучению древнегреческого: «На древнегреческом ваши молитвы дойдут к Богу быстрее!»

Признаться честно, мы легко вздохнули, когда экзамен по античке был позади, и курс истории зарубежной литературы — Средние века и Возрождение — во втором семестре продолжила Е. Н. С-ва. Многие были заочно с ней знакомы — выросли на ее «Почитай-ке», заменившей в школьные годы самарским детям журнал «Веселые картинки»; мы знали, что Е. Н. С-ва редактировала его в 1990-е; именно в этом журнале мы читали русские былины, французские, американские, немецкие сказки. Все свои лекции она читала исключительно с листа, оттого при всей скучности лекционного процесса в них была стройность и необходимая содержательность без экскурсов и ремарок «в сторону». Записывать нам эти лекции не хотелось, ибо от них веяло той же тоской, что и учебник М. П. Алексеева, В. М. Журмунского etc. Семинары проходили скучновато, но творчески небезрезультатно (по крайней мере, для меня: я писал на них стихи по мотивам прочитанных произведений, а потом выигрывал этими стихами новые книжки на поэтических конкурсах).

Печалью первого семестра, пожалуй, можно назвать курс славянской филологии, наискучнее читавшийся профессором Л. Б. К-ко: монотонно и несколько торопливо для только что начавших записывать свои первые лекции студентов. Иногда лекция профессора прерывалась, видимо, подбадривающей репликой: «Ну, вы как-то быстрее пишите!»; затем ее взгляд

снова впивался в кафедру, в лежащий перед ней листок, и монотонная речь, не сбавлявшая темпа, продолжалась далее. Л. Б. К-ко годом позже преподавала нам историю русского языка, точнее — читала нам два семестра второго года курс древнерусского языка, так же сухо и монотонно, как и еще через два года, — когда мы уже стали матерыми студентами-четверокурсниками, — историю славянской письменности. Однако, в отличие от исполнения лекций, содержание книг профессора Л. Б. К-ко было занимательным: в них было собрано немало фактов, хотя по части сюжета они казались мне бестолковыми. Но, следует признать, в любой работе есть свои плюсы и минусы.

Зато муж профессора Л. Б. К-ко, профессор Г. Ю. К-ко, был интересным литературоведом, высоким, умным, с бородой, чем-то напоминавшим нам профессора Преображенского из фильма Владимира Бортко, разве что не такой седой, как Евгений Евстигнеев. Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета (как и его жена), ученик В. М. Марковича, он много говорил о своих хобби, единоборствах, философии жизни, религии (кстати, его спецкурс, с которым он познакомил выбравших литературоведение своей специализацией, назывался «Литература и религиозное сознание»), о том, как он жил, учился, влюблялся и т.п. У него мы больше учились не литературе, а жизнелюбию. Иногда, когда он рассказывал нам какую-нибудь душещипательную историю, глаза его становились влажными, и его искренность приводила нас в восторг. Г. Ю. К-ко мыслил как-то иначе, чем другие, открывал иные измерения и горизонты, филология и литературоведение в его исполнении выглядели не механическим изобретением ученых, а человековедением, и не были отделены от самой жизни. Сам он не проводил никаких границ между литературой, с одной стороны, и философией, историей, этнологией, ботаникой, астрономией, физикой, культурологией и т.д. — с другой. Курс «История русской литературы. XIX век. 2/3» в его исполнении напоминал скорее историю быта и общества, чем литературы. В общем-то, нам было интересно. Жаль только, что семинары были скучноватыми: не было в них ничего из того, что хоть как-то присутствовало в лекциях. Семинар сводился к опросу студентов, чтению ими докладов (некоторые не утруждались и скачивали их из только вошедшего тогда в моду интернета). Семинары, надо сказать, были крайне скучны, однако именно на этих занятиях в нас воспитывался исследовательский дух; именно дипломники Г. Ю. К-ко потом занимали вакантные аспирантские места. Так что с Г. Ю. (вроде бы, помимо вышеупомянутой С. З., только профессора К-ко именовали в студенческой среде аналогично — по инициалам, больше никого — на моей памяти — так не звали) нам повезло. Думаю, что все именно с его слов запомнили на всю оставшуюся жизнь, что для каннибалов самое главное — это ударить по голове, размозжить ее, чтобы мясо было мягче и вкуснее. А у меня перед глазами до сих пор стоит образ студентки в студенческой столовой, которая курит и стряхивает пепел на кусочек хлеба, а потом ест его, потому что так вкуснее (ох уж эти прелесть-истории о голодной студенческой жизни в Петербурге).

Повезло нам, на мой скромный взгляд, и с доцентом кафедры философии гуманитарных факультетов Л. А. К-вой, чей муж — профессор-философ с базовым филологическим образованием В. А. К-в — заведовал этой кафедрой, а в прошлом — состоял деканом филологического факультета. Поскольку в сфере интересов Л. А. К-вой была русская философия, то именно этот курс из трех курсов философии, читавшихся нам в течение трех семестров, мы освоили лучше всего. Один семестр мы учили историю европейской философии, еще семестр — курс социальной философии, и еще семестр у нас был посвящен русской философии, и параллельно с ним Л. А. К-ва по традиции читала свой спецкурс для специальности «русский язык и литература» по философии Владимира Соловьева (видимо, курс этот был результатом прежних привилегий или, так сказать, «блатом», который использовался на благо нашего студенчества). Вообще, Л. А. К-ва обожала русскую философию, начинающуюся, по ее собственному выражению, со «Сковородки» (так двусмысленно в ее устах звучала эта фраза, отсылающая и к кухне, и к Г. С. Сковороде).

Следует сказать еще о двух курсах, с которых началось наше знакомство с филфаком. Это читавшиеся в первом семестре «Актуальные проблемы современной русской литературы» (молодой преподаватель Е. С. П-ва, позже сменившая фамилию и защитившая докторскую диссертацию) и «Введение в поэтику» (эту дисциплину читала молодая дама Л. Г. Т-ва, показавшаяся тогда нам очень строгой, однако впоследствии развеявшая этот стереотип; позже она также защитила докторскую). С Е. С. П-вой мы тремя годами позже встретились на курсе «История литературной критики», а с Л. Г. Т-вой (примерно в то же время) на спецкурсе «А. П. Чехов и драма XX века». Читались эти курсы довольно-таки интересно, их авторы работали без листа и многое черпали из собственного филологического опыта. Л. Г. Т-ва читала нам также историю русского литературного зарубежья (этот курс мне менее запомнился из тех, которыми она дирижировала, — возможно, вследствие того, что я получил по этой дисциплине «автомат»).

К сожалению, очень примитивно нам на филфаке был прочитан курс истории. Понятно, что история, как и математика, читалась всему потоку сразу, как будто мы, филологи, ее и знать не должны. Работали с нами по этой части плохо. Причем, читалась нам только отечественная история, а мы все хотели изучать, как минимум, всеобщую. Может быть, курс читался бы как-то иначе, будь в аудитории не все филологи-первокурсники сразу, а хотя бы одно отделение (к слову, в Самарском государственном университете на филфаке было два отделения — романо-германское, куда относились специальности «английский язык и литература» и «немецкий язык и литература», и отечественное, включающее специальность «русский язык и литература»). А так получилось, что курс одновременно слушали человек двести. В аудитории стоял гул, повсеместное перешептывание заглушало лектора — доцента А. В. К-на, несмотря на то, что он почти всегда говорил в микрофон. Все лекции проходили в какой-то бессознанке (семинары под предводительством аспиранта Е. Е. Ш-на вообще не запомнились, хотя иногда были интереснее лекций), в аудитории было душно. Однажды

ребята на заднем ряду решили открыть окно, чтобы хоть как-то справиться с духотой, и, пытаясь открыть его, разбили. Треск бьющегося стекла был слышен только задней половине аудитории, в передней части аудитории — никто ничего не заметил, в том числе и лектор (или только сделал вид?).

Самым бессмысленным для нас как филологов времяпрепровождением был долгий-долгий, годовой, курс «Основы медицинских знаний». Мы, конечно, знали, что в писательской среде были врачи, но интереса к курсу это знание не прибавляло. В течение всего первого года обучения мы тратили по три пары в неделю (!) на то, чтобы правильно накладывать жгуты, делать прививки и знать, что аборт — это определенный риск для женщин, а зубы необходимо чистить щеткой средней жесткости, так как мягкая чистит недостаточно, а сильная — слишком жестко. Так как никаких подручных средств у нас не было, о правилах наложения жгута мы смотрели на картинках, о зубной пасте — на плакатах (такие же висят перед кабинетом дантиста), об абортах — в кино (фильм был документальный). Учебников у нас не было, поэтому все время приходилось писать. Ведущая курса — только что защитившая докторскую профессор И. Г. К-ва (филологам она запомнилась своеобразным звуком «эр» и коверканьем слов: как-то отсутствовал сокурсник Павел, и И. Г. К-ва спросила: «А Павела нету?»; этого «Павела нету» мы ей простить не могли) — через год выпустила красивый учебник, большой и в твердом переплете, учиться по нему нам не довелось, но студентов помладше забавляли там фразочки типа «очки — это прибор, используемый при дальнорукости/близорукости, который следует одевать на нос». И. Г. К-ва читала все свои лекции с листа и, когда одевалась в цветные платья, была похожа, как нам казалось, на управдома-друга-человека в исполнении Нонны Мордюковой. Двумя годами позднее, когда у нас начался курс «Педагогика и психология», в аудитории мы стали видеть подобную И. Г. К-вой даму, очень сильно ее напоминавшую, но звали ее Л. Г. М-ва и с «эр» и в целом с речью у нее было все в порядке, да и экзамен Л. Г. М-вой было сдавать проще, чем И. Г. К-вой, — в этом тоже заключалась разница между ними. Нам всегда отчего-то казалось, что между Л. Г. М-вой и И. Г. К-вой должна быть родственная связь и что, вероятно, они — сестры, но Л. Г. М-ва, когда мы устраивали ей расспросы, от этого родства открепивалась. Почему-то после выяснения всех этих «родственных уз» Л. Г. М-ву мы любили все больше, а И. Г. К-ву все меньше.

Уже закончив университет, я узнал, что существуют полноразмерные тренажеры для отработки искусственного дыхания. Они используются в мединститутах, в МЧС и подобных структурах, а иногда их приносят в школы и показывают, как правильно делается искусственное дыхание. У куклы-тренажера имитируется пульс, и если все делать верно, то загораются глаза. Индикаторы показывают, спасешь ли ты человека, делая ему искусственное дыхание, или задушишь. Очень классная и простая в использовании штука! Не понимаю, почему профессор К-ва не нашла возможности показать нам такую? Единственный интерактив за год занятий — бинтование и наложение жгута, занятия скучнее даже трудно себе вообразить!

Эти потоковые лекции — просто жуть, кошмар какой-то, бессмысленная трата времени, ибо пользы от них ни студентам, ни преподавателю. А такие ведь читались нам время от времени на протяжении пяти лет учебы. У меня в голове от преподавателей этих курсов только образы остались, а имена их уже стерлись из памяти.

Думаю, мало кто помнит, о чем был курс «Математика и информатика», разве что его ведущего по фамилии Г-в, думаю, запомнили все: пузатый дядька с бородой и в подтяжках как образ вузовского лектора смотрелся колоритно. Он рисовал на доске какие-то формулы, которые мы не успевали переписывать, этим курс и ограничился. Мы для его курса даже формулу вывели: «успей! срисуй! забудь!» и ее краткий вариант: «спи!».

Дисциплину «Концепции современного естествознания» вел молодой, лет тридцати — тридцати пяти, мужчина, заметно прихрамывающий при ходьбе. Ходили слухи, что его когда-то избили за социально-политическую активность, с тех пор захромал. Может быть, это было правдой, а может быть — очередным студенческим мифом, трудно сказать. Вообще он был очень странный, явно жил в каком-то своем мире и, казалось, был далек от всего социального и тем более политического. Читал он вполголоса, так тихо, что через месяц после нашего с ним знакомства аудитория сократилась с двухсот человек до двенадцати. Но ему до этого, казалось, не было никакого дела.

Про курс социологии можно сказать одно — что он был. А вот про курс логики и того сказать нельзя, не читалось нам такого, — наверное, где-то посчитали, что и без логики прожить можно, тем более — филологам. (Вообще прожить можно, наверное, без многих курсов и безо всякого образования вообще, но я так не мог и ходил везде и всюду, стараясь ничего не пропускать. И все же — если бы как-то можно было бы повлиять на ситуацию — я бы хотел, чтобы медицину, историю, математику и все такое прочее преподавали мне люди с базовым филологическим образованием. Во-первых, я верю, что такие бывают, во-вторых, я уверен, что филологу-первокурснику такие курсы было бы слушать интереснее, чем погруженных в свое узконаправленное дело людей. А так было бы здорово послушать такие уникальные курсы, как «Литература и медицина», «Литература и история», «Литература и математика» — но увы).

Хотя, с другой стороны, были и предметы, преподававшиеся даже не группе, а подгруппе, с таким же результатом. Я также не знаю, в чем фокус трехлетнего преподавания иностранного языка: как нас ему ни учили (я изучал немецкий) — мы его так и не освоили. Наша немецкая подгруппа была человек в пятнадцать. Кажется, никто из подгруппы в итоге не овладел свободным немецким. А задавали и спрашивали по всей строгости. Я едва-едва сдал экзамен на «хорошо». Потом, будучи в аспирантуре, немецкий я осваивал значительно легче, но и преподаватель наш был старше и его авторитет на меня оказывал большее влияние, а свободный немецкий по-прежнему остался для меня недоступен. Даже не знаю, к чему было списывать горы блокнотов, работая над переводами? Я хорошо научился читать, переводить со словарем и без, но воспринимать на слух иностранную речь

и спокойно общаться с иностранцами — эта задача для меня и подавляющей части моих однокурсников оказалась непосильной.

На втором курсе, надо сказать, к основному иностранному добавился второй — славянский язык. Когда мы были первокурсниками, то второкурсники нам рассказывали, что нам можно будет выбрать болгарский или польский. Однако нашему курсу «повезло»: нам выбирать было нельзя — поголовно всех отправили учить польский. Там то ли часов на преподавателя не нашлось, то ли еще что-то стряслось, — этого мы так и не узнали и не узнаем никогда. Но я не расстроился, так как случись бы выбор — все равно пошел бы учить польский, потому что любил фильмы Романа Поланского, знал две экранизации «Знахаря» и в свои юные годы даже был влюблен в киногероиню последней, цветной. Польский — это то, что мне более-менее легко давалось, с остальными языками было похуже. Да и нашему курсу в целом, как я заметил, языки давались хуже всего.

Нашим всеобщим кошмаром на первом курсе был старослав — курс под руководством Т. П. Р-вой, в которой, к сожалению для меня, школьная учительница перевешивала блестящего вузовского преподавателя. Язык мы худо-бедно освоили, в течение курса действовала система отработки пропусков и досдачи контрольных, так что экзамен сдать было несложно: если был допуск и были закрыты все контрольные, то оставалось только что-то наболтать по теме билета.

На втором курсе литературу XVIII века читала нам пожилая Л. А. Соловьева, получившая от одного — так и недоучившегося в итоге — однокурсника, попавшего к нам с курса постарше, странноватое прозвище, до сих пор не знаю, почему, — возможно, из-за своей пожилой полноты и неспешности. Она медленно и с большим опозданием каждый раз всплывала в аудиторию, медленно выплывала из нее по окончании занятия (причиной тому были, увы, большие суставы, ноги не позволяли передвигаться быстро), но самое главное — она медленно излагала свои мысли. Речь ее, как и любое ее движение, текла медленно-медленно, однако верно. Как преподаватель литературы XVIII века она нам не нравилась, не потому что сдавать ей было крайне сложно, а потому, что лекции и семинары у нее проходили — за счет всей этой разлитой в атмосфере аудитории медленности — долго-долго, и если выпадало две пары подряд (лекция и семинар; а так было всегда, поскольку нам это расписание диктовали ее большие суставы), то они измощдали нас так, как будто их было не две, а — как минимум — четыре. Интерес к занятиям у Л. А. Соловьевой проснулся в нас позже, курсе на четвертом, когда она вновь вошла в аудиторию, так же медленно и так же плавно, чтобы читать нам курс литературного краеведения. Чувствовалось, что это был внутренне пережитый ею материал, и многих людей, о которых она говорила в курсе, она знала лично или знала их потомков. С блеском она рассказывала нам о графине Александре Леонтьевне Толстой, матери А. Н. Толстого, о самарской литературной жизни начала XX века, редакторах газет и журналов, Максиме Горьком и Екатерине Волжиной-Пешковой... Вот это все зажигало в нас неподдельный интерес, и мы задавали ей вопросы, как будто задавали их какому-то всеведущему оракулу, словно от этого зависела

наша жизнь. Хотя, наверное, так оно и было: мы формулировали вопросы, бывшие для нас замочной скважиной, в поисках ключей — ответов, открывающих нам литературно-краеведческое знание. Лариса Александровна воистину была оракулом нашего времени!

Курс фразеологии и курс современного русского языка на втором году обучения читал нам Лев Григорьевич Кочедыков, автор словаря фразеологических выражений, мужчина почтенного возраста. Мы считали его профессором, познания его были глубоки, читал он весьма интересно, однако в действительности он не был даже и кандидатом наук, работая на ставке доцента. Студенты его любили и равно боялись, девушки боготворили, ребята уважали. Про него даже анекдоты какие-то ходили, и все их друг другу пересказывали. Очень жаль, что в силу возраста и по состоянию здоровья сейчас Л. Г. Кочедыков уже не преподает в вузе. От него мы узнали много интересного, веселого, но и немало натерпелись. Когда Л. Г. Кочедыков приводил какой-нибудь пример в качестве иллюстрации свойств русского языка, то замешивал его на юморе и студенческих, то есть наших, фамилиях. Помню, пример со мной: «“Косицин курит”». Что я сообщаю вам этим предложением и как это понимать? Если он курит, что, в принципе, возможно, то явно не сейчас, потому что вот он сидит, тогда я, получается, вам всем лгу; но он же может курить вообще, в принципе, не в данный момент. А предложение в обеих ситуациях звучит и пишется одинаково!».

Позднее, на третьем и четвертом курсах, современный русский язык читала нам тоже интересная личность — Е. С. Скобликова, племянница А. Н. Гвоздева, весьма бодрая, несмотря на почтенный возраст. Ей было за восемьдесят (с этого года она, отпраздновав 90-летие, ушла на пенсию), но она всегда проводила свои лекции, ходила без палочки, никогда не оговаривалась и вообще, обладая интеллигентной речью, выражалась интеллигентно построенными фразами. Дух советской учительницы застыл в ней, и мы ее за глаза звали «Ленкой-училкой» (мне кажется, прозвище это ходило в небольшом кругу нашего курса и за пределы его никогда не распространялось, да и в нашей кулуарной среде оно никак не приживалось, то исчезая, то возникая вновь, — как-то язык не поворачивался именовать так пусть даже и за глаза достопочтенную нашу Елену Сергеевну). Не знаю, почему. Так уж исторически сложилось. По ее собственному признанию, она на своем веку пережила аж три орфографические реформы.

На втором году обучения был интересный курс под названием «ЛАХТ» (лингвистический анализ художественного текста). Вела его Н. А. Р-ва, — казалось бы, ничего необычного, но курс было приятно слушать (лично мне — в силу спокойного голоса Н. А. Р-вой). До вуза несколько лет Н. А. Р-ва проработала в средней школе, о чем она иногда вспоминала вслух, но эти годы не сказались на ее манере вести занятия. Курс мы выучили относительно хорошо, экзамен сдали неплохо. Требовательности как таковой Н. А. Р-ва нам не предъявляла, но готовились к ее семинарам мы исправно, потому что было интересно.

Е. А. Б-на читала нам «Введение в языкознание» (кажется, в первом и во втором семестрах). На семинарах и на экзамене спрашивала по всей стро-

гости, лекции читала с листа, в основном повторяя учебник А. А. Реформатского. Ее манеру подачи материала никак нельзя было назвать оригинальной в силу пересказывания отдельных мест учебника, с одной стороны, и то, что сам материал был знанием всеобщего плана, а не острой проблемой для дискуссий, граничащей со сферой личных интересов, — с другой.

В принципе аналогично нам читалось и «Общее языкознание» в исполнении М. Н. Б-ной (на четвертом курсе), но слушались они, на мой взгляд, интересней. М. Н. Б-на читала нам также историю лингвистических учений — курс о лингвистических школах и их методологиях. Было это уже на последнем курсе филфака.

На разнице восприятия мной занятий Е. А. Б-ной и М. Н. Б-ной сказался, вероятно, тот факт, что первая читала нам лекции, когда мы еще не были приучены к самостоятельному сбору и обобщению информации, отчего все излагаемое преподавателем казалось нам сложным, труднофиксируемым, и мы в большей степени полагались на учебник, который штудировали вечерами, чем на собственные записи в тетрадях; а вторая — когда мы уже были готовы к лекционным форматам, научились полностью записывать все, что сообщает преподаватель, и успевать думать и делать заметки на полях о степени важности той или иной информации.

«Основы семантики» преподавала нам завкафедрой русского языка — профессор Н. А. И-на. В общем курс сводился к тому, что мы рисовали цепочки семантически родственных слов и искали различия между ними. В качестве итоговой работы я, как помню, писал о семантическом функционировании слова «товарищ» в дискурсах исторических эпох, а в качестве курсовой — рассматривал концепты «муза», «лира», «вдохновение» в научном и художественном дискурсах.

Курс стилистики и культуры речи читала нам Т. П. О-ва, веселившая нас своим видом, прямо ассоциировавшимся с ветхостью. Студенты прозвали ее «баба Тася» и сделали в набирающей тогда обороты соцсети «ВКонтакте» ее персональную страничку. Ничего неприличного там не было, никакого хулиганства. Там было все, что могло быть связано с культурой речи — предметом, который она преподавала, но вид персональной интернет-странички Т. П. О-вой сам по себе вызывал неподдельный смех. Уж так не вязался ее образ с современными интернет-технологиями. Т. П. О-ва была дама своеобразная и, руководствуясь этим, считала, что имеет право на индивидуальность во всем. Мне она на экзамене поставила «хорошо», аргументировав это следующим образом: «Вы мне чем-то напоминаете Юру Орлицкого, ему я тогда поставила «хорошо», будет несправедливо поставить Вам больше». Вот логика-то — не поспоришь! Кумиром Т. П. О-вой был Кирилл Сергеевич Горбачевич, на работах которого Т. П. О-ва строила все свои лекции. Т. П. О-ва обладала особым чувством юмора, о существовании которого она даже не подозревала. Ходила легенда, что она однажды какому-то курсу назначила зачет на 31-е декабря. Все студенты, разумеется, были возмущены этим поступком (особенно горько пришлось приезжим, общаговским), а им надо было радоваться, ибо предновогодняя дата — это еще полбеды, апогеем же стал сам зачет, начавшийся рано утром и закончившийся вечером,

в десять часов, когда преподавателя и его подопечных выставили за двери университета комендант корпуса и охрана. Такова легенда, а правда это или нет — судите сами!

Как-то раз в октябре в корпусе отключили воду, и деканат разрешил отпустить студентов. Корпус был пуст, пару не отменила только Т. П. О-ва. Она спросила у жалующихся на холод и взывающих к объявлению деканата студентов: «А сколько времени осталось до конца пары?». — «Сорок пять минут», — воодушевились студенты. — «Ну, ничего, люди и дольше терпели», — ответила Т. П. О-ва и продолжила пару. — Как-то раз я зашла библиотеку, было минус два градуса. А вышла из библиотеки — было минус двадцать семь градусов!»

Диалектологию читала нам немолодая уже, но весьма приятная женщина Т. Ф. З-ва. Она рассказывала нам про оканья, аканья, про диалектологические практики советских студентов (отчего у нас текли слюни, ибо нам сразу говорилось: «Времена сейчас сложные, денег нет, никуда уж лет десять не ездим!») и про то, как сказочно красив был молодой В. Д. Бондалетов. Нам казалось, что она была в него влюблена, уж так часто она его вспоминала, что даже девочки, наслушавшись о красоте Бондалетова от Т. Ф. З-вой, изобрели локальное выражение «*Красив, как Бондалетов*», которым наделяли интересных им представителей мужского пола (девочки с младших курсов, когда мы уже заканчивали филфак, в качестве секс-символа почему-то выбрали себе знакомого им по фото в интернете Д. П. Бака, хотя выражение «*Красив, как Бак*» против «*Красив, как Бондалетов*» звучит жестче, не так ли?).

Среди своих, кафедральных, литературоведов эстетики филфака ценили уже немолодого профессора Н. Т. Р-я. Он занимался (и ныне занимается) немецкой литературой. Шестидесятилетний мужчина невысокого роста, в очках, седой, внешне чем-то напоминающий Вуди Аллена, — мне была понятна такая явная любовь со стороны девочек к нему и его курсу. Его курс я любил и сам: лекции, читаемые — в профессорской манере — с листа, были очень оригинальными, необычными, непохожими на другие. Он говорил преимущественно о поэтике, о том, как художественный язык воспроизводит сознание человека эпохи XX века. Н. Т. Р-ь читал нам лекции целый год, за это время он, кажется, лишь раз провел с нами практический семинар, все другие — вел тогдашний аспирант И. И. С-в (теперь небезызвестный в Самаре культуртрегер и арт-критик). Кстати, сам И. И. С-в тоже не раз выступал объектом обожания у студенток, которые еще на первом курсе наслушивались о его детстве от С. З. Агранович.

Мать И. И. С-ва, профессор-литературовед И. В. С-ва, написала в соавторстве с С. З. несколько работ, в т.ч. монографий. И. В. С-ва преподавала нам, уже старшекурсникам, отечественную литературу 1950–2000-х годов. Преподавала, — следует, кстати, сказать, — увлекательнейше. Она прекрасными словами ругала современных писателей, постоянно что-то читала из нового и рассказывала об этом нам, за что мы до сих пор ей благодарны. И. В. С-ва читала нам еще свой своеобразный спецкурс: «История русской

литературы: гендерный аспект», суть которого сводилась в основном к анализу женской прозы и обсуждению феминности и маскулинности в ней.

Хотелось бы рассказать здесь еще об одной легенде филфака Самарского госуниверситета — В. П. Скобелеве, но — увы — многого сказать не получится, так как, к сожалению, профессор В. П. Скобелев умер до того, как он должен был читать нам курс теории литературы. Старшекурсники о его лекциях рассказывали нам много веселого как о живой легенде, с обожанием вспоминая его шутки и словечки. Вот одна из них. Идет полным ходом семинар у заочников, В. П. Скобелев задает очередной вопрос аудитории: «Оля Мещерская — кто она такая? Что это за персонаж? Как бы, попадись она вам в жизни, вы бы ее охарактеризовали?» В аудитории тишина, все задумались, молчат, усиленно перебирают в уме литературные типы и характеристики. Профессор В. П. Скобелев, не услышав ответа, в тишине аудитории продолжает: «Да б***ь она!».

Я застал живого В. П. Скобелева на конференции по Высоцкому, проходившей в Самаре за год до того, как его не стало. Я учился тогда на втором курсе, меня и еще одного моего однокашника с РГФ попросили помочь — расставить стулья в аудитории перед началом конференции. Так мы попали на конференцию. Под конец нас как помощников пригласили на банкет, где было очень весело — все пили и пели песни Высоцкого. Наверное, это и стало в какой-то мере для меня определяющим событием: собрание интереснейших людей и разговоров вокруг зародили во мне желание идти в аспирантуру. После той конференции я решил, что буду учиться лучше (хотя я и так учился неплохо), что вскоре произошло: четверки стали меньшинством в моей зачетке.

Так как В. П. Скобелев превратился из живой легенды в абсолютную, курс теории литературы нам читал доцент М. А. П-н, защитивший четыре года назад докторскую диссертацию. С М. А. П-ным меня и тогда, и теперь связывают теплые дружеские отношения, поэтому я не могу объективно судить его манеру чтения лекций и говорить об атмосфере, складывающейся на его семинарах. Лично мне все, что он делал, казалось внятным, структурно обусловленным и даже интересным. Однако часть моих однокашников, полагаю, со мной бы не согласилась. Я помню несколько слов критики от них в адрес М. А. П-на. Это оправдано и становится понятным, если брать в расчет тот факт, что М. А. П-н любит апеллировать к студенческим «обязательствам» и всячески снаряжать студентов, казалось бы, непрямыми их делами: набрать в Word'е текст из дореволюционной публикации, прийти на конференцию, помочь с ее организацией, а потом еще — о мука! — слушать доклады каких-то незнакомых понаехавших людей, которые ни экзамена, ни зачета у тебя в жизни принимать не будут... Ставя себя на место рядового студента, не видящего во всей этой суете сует никакой профессиональной необходимости, легко можно понять, откуда берется такого рода критика.

Помимо теории литературы, М. А. П-н читал нам историю литературоведения. По этой дисциплине у него была разработана толковая методичка (или учебное пособие?). Курс представлял собой историю литературовед-

ческих идей, и мы учились разбираться в методах исследования, которыми орудовали представители различных научных школ.

Дисциплину «Основы стиховедения» незабываемо преподавала нам И. И. К-н, обладающая своей неподражаемой манерой. Когда ее по-учительски заносило ввысь, мы с трудом понимали, чего она от нас хотела. От нее мы услышали, как нерадивые студенты коверкали названия художественных произведений, которых они не прочитали и о которых — вследствие этого — имели очень смутное представление. Так, произведение Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» превращалось в американизированное «О копах Сталининграда», а «Детство Никиты» Алексея Толстого в «Детство Никиты» (по аналогии с сериалом «Ее звали Никита»). Она же читала нам курс детской литературы, отношение к которому с нашей стороны было амбивалентным: сам курс и произведения его были нам интересны, но странные разговоры вокруг курса и бессистемная его подача вызывали наше негодование. В итоге детскую литературу я больше освоил через учебное пособие Л. Я. Зимана, с которым случайно встретился на конференции в Москве в аспирантские годы.

Л. П. Р-кая преподавала курс «История русской литературы. XIX век. 3/3» и спецкурс «Пушкин и Гоголь». Лично я был в восторге от того, как Л. П. Р-кая цитировала стихи и прозу. Она могла наизусть читать большие стиховые куски из «Маленьких трагедий» Пушкина или фрагменты прозы Гоголя, Толстого, Достоевского. Это завораживало. Старшекурсники говорили, что сдавать ей экзамен сложно, но я не помню, сдавал я ей его по билету или получил автомат. Наверное, несложно все-таки, раз это как-то уже стерлось из памяти. Зато отлично помню, что старшекурсники пугали нас Л. Д. Никольской, которая вела курс истории русской литературы до Л. П. Р-кой, но, «слава Богу», по их же выражению, ушла на пенсию до того, как эту дисциплину стал изучать наш курс. Л. Д. Никольская прославилась тем, что не пускала на лекции одетых «не по системе» девочек, заставляла их переодеваться, если ноги, руки или живот были слишком оголены, а на семинарах зверствовала, заставляя учить стихотворения наизусть, как в средней школе, а на экзаменах — отвечать с цитатами, точно, слово в слово. А еще тщательно проверяла, не исписаны ли у девочек коленки, и если где-то находила намалеванные шпоры — выдавала мыло и отправляла в туалет.

На филфаке в среде нескольких поколений старшекурсников бытовал такой анекдот. В эпоху нашего студенчества про него забыли и вспомнили тогда, когда Л. Д. Никольская год тому назад действительно умерла. Итак, анекдот.

Раздается телефонный звонок на кафедре. Л. А. Финк снимает трубку:

— Кафедра литературы, Финк слушает!

— Добрый день! Скажите, а могу ли я слышать Л. Д. Никольскую? — спрашивает какой-то студент.

— К сожалению, нет, она скончалась, — отвечает Финк и кладет трубку.

Звонок раздается снова, тот же голос в трубке:

— Добрый день! А могу ли я слышать Л. Д. Никольскую?

— К сожалению, нет, она скончалась, — отвечает Финк и снова кладет трубку.

Звонок раздается в третий раз. Л. А. Финк снова снимает трубку:

— Кафедра литературы, Финк слушает.

— Добрый день! А могу ли я слышать Л. Д. Никольскую?

— Я же Вам уже два раза сказал, что Л. Д. Никольская умерла! — возмущенно отвечает Л. А. Финк.

На что голос в трубке радостно отвечает:

— Я понимаю. Просто мне это так приятно слышать!

В целом XIX век нам читался провально. О современных исследованиях этого периода мы узнавали по большей части самостоятельно из журналов «Новое литературное обозрение» и «Вопросы литературы». Сами преподаватели, — не все, конечно, а наиболее подвинутые, — журналы эти читали более-менее регулярно, остальные же — от случая к случаю, потому некоторые новости из мира науки студенты узнавали раньше своих старших коллег. Но, думаю, эта ситуация типична для всех филфаков. С другой стороны, прошло семь лет с тех пор, как филфак остался позади, я защитил диссертацию и уже преподаю несколько лет (к сожалению, не на филфаке), и XIX век мне стал ближе и понятнее, чем век XX-й. XIX век мы изучали полтора года (на втором и третьем курсах), а XX — только один (на четвертом), и само деление XX века на периоды было какое-то механическое: первая и вторая половина. А между XIX и XX веками был семестр литературы рубежа веков. Рубеж в зарубежной литературе преподавала Г. В. З-на, специалист по готике и хоррор-литературе, а в русской — уже упомянутая Л. Г. Т-ва. В общем, если брать в расчет выход наших знаний по литературе рубежа веков, то ситуация с XIX и XX веками выглядит не столь уж и печальной.

Литературу первой половины XX века читала нам Т. В. Ж-ва (она также читала нам дисциплину «Литературоведческий анализ художественного произведения» и спецкурс «Трагикомическое в литературе»). Ее лекции были очень душевными (в том смысле — что читались они с душой), да и сама она производила благоприятное впечатление на нас. Умная, интересная женщина, обращавшаяся к нам неизменно «друзья мои», порой отпускала нас со своих лекций, если по телевизору в это время шло что-то, как она сама говорила, «по-настоящему интересное» (интернет-видеотека ведь тогда была только формирующимся явлением, а телевизор — всему голова!). Так, однажды она начала свою лекцию словами: «Друзья мои! Через час по телеканалу “Культура” начнется показ видеозаписи лекции Юрия Михайловича Лотмана из цикла “Беседы о русской культуре”». Я готова отпустить со своего занятия тех, кто захочет уйти, чтобы посмотреть на Лотмана, и обещаю, что не стану предъявлять к ним никаких санкций». Кто-то тогда ушел. И я тоже один раз уходил смотреть Лотмана. Т. В. Ж-ва верно тогда сказала, что есть люди, которых стыдно не знать в лицо.

Мне кажется, что кафедра русской и зарубежной литературы СамГУ — это собрание замечательных людей нашего филфака. Надо вспомнить здесь и ее заведующего — профессора С. А. Г-ва, который всегда был (и есть, дай

Бог ему здоровья!) человеком энциклопедических знаний, блестящим лектором, интересным собеседником, не лишенным чувства юмора. Мы понимали, что организационных дел у него много и посему многого от него не ждали, однако несколько раз он удивлял нас своими лекциями. В целом его спецкурс «Город как текст» был обыкновенным, и для освоивших работы Н. Анциферова, В. Топорова, М. Кагана (и им подобные) прошел без особых открытий. Замечательным подарком для некоторых и для меня, в частности, стало то, что его спецкурс выпал на нас как раз тогда, когда он вернулся из Калифорнии, где только-только впервые побывал, поэтому весь семестр мы слушали не столько о литературе, сколько о его поездке, американских хайвэях и играющих на дорогах медвежатах. Недавно у С. А. Г-ва вышла книжка мемуаров, некоторые страницы которых отразили эти истории.

В завершении нужно упомянуть декана филфака, сочетающего в одном лице занудного преподавателя и очаровательную женщину. А. А. Б-ва, с ахматовским именем-отчеством, и доныне властвует филологическим студенчеством в корпусе на улице Потапова. Она читала нам курс истории русского языка. Пожалуй, это был самый незапоминающийся курс из всех, что был нам прочитан. Хотя лингвисты, наверное, со мной не согласятся. Однако у меня самое яркое впечатление на занятии А. А. Б-вой — не об открытии какого-либо явления в истории языка, а о радиационной аварии в Балакове. В тот день, когда случилась авария в Саратовской области и в Самарской стали скупать в аптеках йод и пить его вплоть до отравлений, А. А. Б-ва, заподозрив о нашей впечатлительности и задумчивости, отменила контрольную по своему предмету. Это был для нас незабываемый праздник щедрости. Контрольная состоялась неделей позже.

Когда после второго курса перед нами встал вопрос о выборе специализации — лингвистика или литературоведение, я, недолго думая, выбрал второе. Теперь, глядя на все вышесказанное, я с полным правом могу сказать, что выбор этот был определен моими интересами. Даже по тому, какое место в моем изложении ныне заняли лингвисты и литературоведы, приоритет последних очевиден. Много из лингвистических дисциплин, увы, прошло мимо меня. В чем-то здесь и моя вина: не случилось живого интереса, не нашлось волнующего вопроса, важного отклика etc. Если бы данный текст принадлежал перу лингвиста — приоритеты, наверняка, были бы иными. В любом случае не бывает такого, чтобы удалось полюбить всех и каждого — равно, беззаветно и безоценочно. Хотелось бы быть неприятельным к своей истории, но подчас это трудно сделать.

Что же касается практик на нашем отделении филфака, то из них у нас были *архивно-музейная* (в единственном литературном музее Самары, где я теперь работаю на полставки, совмещающая с преподавательской деятельностью в Самарской государственном аэрокосмическом университете), *лингвистическая* (пришедшая на смену диалектологической; мы сидели-читали груды газет в библиотеке, выписывая из них фразеологизмы, — видимо, собирали диссертационный материал для руководителя практики Н. А-ко — молоденькой аспирантки кафедры русского языка, вышедшей потом замуж

и оставившей аспирантуру и диссертацию), *по специализации* (составляли и утверждали список литературы на лето по теме диплома; каждый руководитель давал своим дипломникам определенного рода задания), *педагогическая* (шесть недель глумились над школьниками, проверяли их тетради, проводили занятия и судили КВН'ы; самая настоящая практика, нас даже на учительские собрания приглашали для понимания сферы деятельности и труда школьного учителя), *предквалификационная* (не помню, что это и что мы там делали, но в дипломе написано, что таковая была).

Таков мой филфак. Там работают странные, воспитанные, порядочные люди. На других факультетах, — я их не много, но все-таки повидал в жизни, — мне кажется, все гораздо хуже. Видел я и истерично матерящуюся профессуру, хронически употребляющих доцентов и абсолютно бесталанных ученых, которые не могут и строчки без чьей-либо помощи написать и без плагиата в принципе не могут, но вполне успешно при этом публикуются в «ручных» ВАК'овских изданиях и ничему не учат студентов. Их имена я здесь не назову, пусть история их забудет.

* * *

Между созданием статьи о моем филфаке и подтверждением ее публикации — несколько лет, хвативших бы, наверное, еще на один филфак. За это время многое в жизни моего филфака поменялось: он сменил свое собственное название (теперь именуется факультетом филологии и журналистики), названия своих кафедр и даже университета (Самарский государственный университет ныне вошел в состав Самарского университета имени академика С. П. Королева; по факту — произошло объединение Самарского государственного университета и Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королева), у кафедр факультета ныне сменились заведующие, печальное право на расшифровку имен (согласно оговоренным правилам) получили Лариса Александровна Соловьева, Лев Григорьевич Кочедыков, Елена Сергеевна Скобликова. Без этих людей филфак уже никогда не будет прежним. А мне на память осталось только время моего филфака, который роднее и дороже любых перемен. И очень жаль, что в одну реку не входят дважды.

